

УДК 128:316.325

Чистотина О. А.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

СМЕРТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ: ОТ-ВЛЕЧЕНИЕ И РАЗ-ВЛЕЧЕНИЕ

В статье рассматривается новая мифологии смерти, возникающая и обретающая свой язык в связи с современными мутациями общества потребления. В социальном аспекте массовой культуры исследуются практики и технологии «не-смертия» и «откладывания» смерти, определяется их влияние на жизненные установки современного человека. Формирование пространства «экранной смерти» и размывание границ между жизнью и смертью проанализировано в контексте мифологии масс-медиа. Мотивы и образы смерти в медиа-пространстве рассмотрены нами в качестве «отвлечения» и «развлечения».

Ключевые слова: смерть, массовая культура, медиа, развлечение, технологии «отвлечения».

У статті розглядається нова міфологія смерті, що виникає і знаходить свою мову у зв'язку із сучасними мутаціями суспільства споживання. В соціальному аспекті масової культури досліджуються практики і технології «не-смертя» та «відкладання» смерті, виявляється їхній вплив на життєві настанови сучасної людини. Формування простору «екранної смерті» та розмивання меж між життям і смертю проаналізовано у контексті міфології мас-медіа. Мотиви та образи смерті в медіа-просторі розглянуті нами у якості «відволікання» та «розваги».

Ключові слова: смерть, масова культура, медіа, розвага, технології «відволікання».

The paper describes a new mythology of death appearing and finding its own language in connection with the mutations of consumer society. By analyzing the characteristics of the modern perception of death and its borderlands author clarifies how modern person is related with his life. Practices and technology of “non-death” and “delaying death”, their impact on the attitudes of modern people considering social aspect of popular culture are investigated. Space shaping of the “screen death” and blurring of boundaries between life and death have been analyzed in the mythological context. Motifs and images of death in the media as a kind of “distraction” and “attraction” are considered as well.

Keywords: death, mass culture, media, attraction, technology of distraction.

Этнограф-структуралист, изучая быт и нравы первобытного племени, первым делом обращает внимание на его погребальный обряд и ритуалы, отыскивая там корни мировосприятия. Если – не без ссылки на генеалогический метод Фуко – отстраниться и бросить на окружающую нас культуру беспристрастный взгляд чужака, то мы с удивлением обнаружим парадоксальное: общество, в котором отсутствует культура смерти и где нет каких-либо четких общих *жизненных* представлений о смерти.

Способ и манера говорения любой эпохи о смерти – её собственное, неповторимое слово – в зеркальном отражении выдает образ мысли и жизни. Представления о смерти в XXI в. представляют собой коллаж, сочетающий в себе самые немыслимые крайности: вытесненная, тихая, беззвучная – она в то же время становится громкой, навязчивой, экспансивной. «Сказ» о смерти подлечит одновременно и архаическим табу, и законам современной моды, отражая запросы и вкусы общества потребления. Посредством анализа особенностей современного восприятия смерти и её пограничья мы намереваемся прояснить, как относится (или, напротив, – как *не* относится) современный человек к своей (или – уже *не* своей) жизни. Наше внимание обращено к пространству «экранной смерти» – отвлекающей, развлекающей и завлекающей.

Философское осмысление современного отношения к смерти было начато лишь в 70-х гг. прошлого века – до этого культура смерти, по большому счету, не подвергалась систематической рефлексии, а сама смерть не становилась непосредственным предметом исследования гуманитарных наук. Однако, работы Жана Бодрийера («Символический обмен и смерть» [7]) и Филиппа Арьеса («Человек перед лицом смерти» [2]), обнажившие соответственно социально-философский и историко-антропологический срезы проблемы смерти, пробудили массивный научный интерес к трансформирующемуся вместе с жизнью «облику смерти».

Не без оглядки на класическое и неклассическое философское наследие («смерть» Г. В. Ф. Гегеля, создавшая человека, «Танатос» З. Фрейда, «бытие-к-смерти» М. Хайдеггера и др.) стали появляться научные работы, активизирующие иные стороны и аспекты в рамках этой тематики. Мишель Фуко уделяет смерти много внимания в своей концепции биополитики [15]. Тема смерти, а точнее *смотрения на смерть*, развита в ракурсе властных отношений и масс Элиасом Канетти [14]. Спецификой последних исследований в данной сфере стало обращение к мотивам недо-смерти и не-смерти в массовой культуре [1; 12]. В данной статье мы хотим рассмотреть бытующее в современной массовой культуре отношение к смерти и проанализировать природу различных технологий и образов не-смертия, участвующих в формировании жизненных установок современного человека.

Рассмотрение *культуры* смерти невозможно без привязки к *истории* смерти – вне плотного социально-исторического контекста. Предпосылкой к наметившемуся «перевороту» смерти стала вся история XX века с её мировыми войнами, концлагерями и оружием массового поражения. Абсурдность бесполезных, случайных смертей и потрясение целенаправленного, конвейерного производства смерти подорвали всякую претензию традиционной культуры на смысл. Безумие войн породило не-мыслимость смерти: пережив массовую гибель миллионов людей, общество налагает негласный запрет на траур и на все, что напоминает ему о смерти [2, с. 478]. «Смерть стала чем-то стыдным и запретным, как в викторианскую эпоху секс» [2, с. 470].

На протяжении жизни одного поколения происходят изменения, более радикальные, чем за предыдущую тысячу лет. Смерть перестает быть символически значимым и поддающимся коммуникации инобытием, превращается в непроглядное и неоправданное небытие. Она более не мыслится как нечто естественное, приличествующее человеку и обязывающее его к некоему символическому порядку жизни; становится чем-то и необязательным, и противоестественным, и откровенно неприличным. Как замечает в этой связи Бодрийяр, «сегодня быть мертвым – ненормально, и это нечто новое» [7, с. 235].

Воспринимаемое ранее как средоточие общественной жизни событие стало «антиобщественным, неисправимо отклоняющимся поведением» [7, с. 235]. Смерти, утратившей свою прежнюю сакральность, также было отказано и в эстетичности: после мясорубок мировых войн она теряет ореол роковой красоты. Рост уровня гигиены, «утончение» вкусов и обоняний публики подвергли когда-то привычную и естественную смерть медосмотру и вынесли приговор: не-гигиенично, недопустимо. Обыкновенная, биологическая смерть (без-образная) стыдливо сжимается, прячется, занимая в современных мегаполисах все меньше места: в процветающем мире она вынуждена довольствоваться бесцветной укромностью, и говорение о ней неуместно и некстати.

В обществе комфорта-и-потребления смерть выступает не только эстетически неприятной, но еще и досадной: ведь, как отметил еще Х. Ортега-и-Гассет, «во всех основных и решающих моментах жизнь представляется массовому человеку лишенной преград» [13, с. 53] – а в смерти он сталкивается с тем, что не поддается учету, планированию, строгому контролю. Она – знак бессилия, беспомощности, ошибки или неумелости, который следует поскорее забыть [2, с. 481]. Универсальная конвертируемость в товар / услугу, возможность расчёта и идеальный потребитель возможны только при полном исключении мертвых и смерти.

Говоря о том, что сегодня жизнь протекает в рамках экономической организации, «укорененной в беспрестанном “отлагании” [différence] смерти» [7, с. 103], Бодрийяр позволяет нам вести речь об «отложенной смерти». Смерть перестает быть делом не-отложным, она откладывается – как можно дальше и дольше: её идеалом и прообразом становится не мгновенный выстрел, а дрящаяся и не отлипающая жвачка. «Чтобы стать рабочей силой, человек должен умереть. Эту свою смерть он потом *постепенно* продает в обмен на заработную плату» [7, с. 103]. Появляется смерть отложенная: отложенная-на-потом, отложенная-в-дальний-ящик и даже отложенная-на-черный-день. Но вместе с такой смертью в этот самый ящик (ящик-гроб, ящик-телевизор, ящик Пандоры...) откладывается и жизнь.

Исчезают «пограничные» моменты инициации, все текуче, нет резких граней перехода – комфортное общество всеми силами *отвлекается*, избегает точек невозврата, уклоняется от *свершения* и *сбывания*. Апология «безопасности жизнедеятельности»,

возведенной в ранг государственного культа, задает тот специфический формат существования, в котором эффект отсутствия угрозы смерти воспринимается как условие полноценности жизни. «Изобилие» как способ жизни и времяпрепровождения требуют, прежде всего, обилия именно жизни и времени. Причем, без чувства ограниченности: в фильме «Время» (2011, реж. Э. Никкол), где единственной мировой валютой служит время, герой мечтает о том, чтобы не смотреть на руку-хронометр – на счетчик оставшихся в его распоряжении дней / часов / минут. Всякое размышление о конце переходит в режим «Я подумаю об этом завтра» или в более «мужской» формат: «Честно говоря, моя дорогая, мне на это наплевать».

При перемещении фокуса исследования от смерти-(не)-события, смерти в плоскости биологической и социальной к смерти-рассказу в плоскости ментальных проекций нельзя не проявить интерес к «событию-рассказу» – превращению в речь / текст «события-события» в понимании А. Бадью. «Ведь и само событие смерти, собственно, это даже не событие, а миф, переживаемый заранее» [7, с. 268]. Это речь – *до* и *после*.

Однако именно здесь открывается странная ситуация: говорение о смерти – живое, личное, со-участное и со-бытийное оказывается вытеснено. Речь умирающего неслышна и не слышна: исчезла традиция торжественных и многолюдных предсмертных наставлений и распоряжений, необязательной стала последняя воля и исповедь, неконтролируемые эмоции близких не приветствуются в формате больницы. Эта речь одинокого в своей собственной смерти, невыговоренная и неизвестная живым, сейчас более чем когда-либо безвестна. Речь эта, как и исследованная Р. Бартом речь влюбленного (наверное – даже в большей мере), находится сегодня в предельном одиночестве. «Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам» [5, с. 80].

Морги, крематории, кладбища отделены и отдалены от «жизненного мира» живых – это зона отчуждения, зона психологического дискомфорта и не-знания-о-чем-говорить – траурная речь соболезнавания утрачена. Однако взамен воспитана корректность всеобщего не-напоминания: «не открывай мне мою смертность – и я не ткну тебя в твою». По молчаливому сговору тема смерти («моей» естественной) игнорируется, обходится и сглаживается, но – что весьма примечательно – происходит это на фоне оживленного, громогласного, навязчивого дискурса о смерти («чьей-то», искусной и искусственной).

Боясь признания и смерти, и ее страха, современность демонстративно играет этой темой. От неё отворачиваются, чтобы увидеть её же (или плоскую копию) на экране. Изобретается множество *декоративных* и *декорационных* постановочных смертей: экранно-одномерных, броских, режуще-ярких извне и ничем не наполненных изнутри. Смерть становится наигранной и сфабрикованной; она поставлена на поток массового производства – и буквально, и виртуально [11, с. 27].

Дискурс смерти становится одним из наиболее востребованных и популярных у зрителя / слушателя / читателя: катастрофы, криминальные происшествия, шокирующие убийства и смерти захватывают медиа-пространство, события смерти далеко обгоняют по рейтингам события жизни. Та же неутолимая страсть, которая гнала зрителя на гладиаторские бои и публичные смертные казни, теперь приковывает его к экрану – «головокружительное потребление катастрофы» [6, с. 14]. Э. Канетти объясняет эту танатофилию маниакальным стремлением пережить других: «миг, когда ты пережил других, – это миг власти. Ужас перед лицом смерти переходит в удовлетворение от того, что сам ты *не мертвец*» [10, с. 117]. Это удовлетворение дает наслаждение, превращающееся в настоятельную потребность повторять это переживание во все больших дозах [10, с. 122]. Страх смерти и стремление её наблюдать подгоняют друг друга: танатофобия, танатофилия, танатозависимость.

Торжествующему над своей и чужой «естественностью» человеку наиболее неприятна и неприемлема именно смерть естественная: это уничтожение идеи прогресса, власти человека над природой и глумливое подсовывание неискривленного зеркала биологии. Отказав в смысле естественному ходу природы, человек во всем, даже в смерти, ищет следы своего вторжения. Только не-естественная смерть имеет «человеческий» смысл – она вновь становится делом группы, требует «коллективно-символического ответа» [7, с. 293].

Средством такого коллективного при-общения становятся медиа. Через общую обращенность к экрану, через пропускание сквозь себя катастрофы чужих и чуждых людей на

другой стороне земли человек нащупывает пульсирующий нерв уже забытого со-бытия. Через *развлечение* чужой смертью человек пытается *вовлечься* в жизнь: ведь тогда она ощутимо, симулятивно есть – совсем близко, на расстоянии протянутой к монитору руки.

В условиях скудости на событие, тоски по событию, смерть становится чрезвычайно востребованным сырьем: «потому-то мы и мечтаем о насильственной смерти, что живем смертью медленной» [7, с. 110]. Все, в чем может быть усмотрен хоть намек на событие, немедленно муслируется и раздувается до формата события-нарратива. Подобную неестественность и даже нездоровость медиа с точностью констатирует Д. Москвин: «Современная экранная культура, действующая через технологии мифологизации, профанации, актуализацию воображаемого и воображение нереального, помешана на дискурсе смерти, постоянной её профанации, охоте за ней» [11, с. 27]. Зрелище смерти становится атрибутом развлечения – как попкорн – оно должно быть горячим, легким и аппетитным.

Смерть («моя»), как событие по определению неповторимое и единственное в жизни, размывается через многократную повторяемость чужих смертей. Десакрализованная смерть превратилась, по словам Москвина, в «объект массового пережевывания, излюбленный медиа объект непрерывной симуляции» [11, с. 27]. Чем больше экранных смертей, чем они зрелищнее и массовее, тем выше становится «порог чувствительности» зрителя – тем более сильных доз он требует в следующий раз.

Однако опыт смерти подразумевает отсутствие чужого, невозможность своего возврата; согласно Ж.-Л. Нанси, это «опыт без-возвратности» [12, с. 89], согласно Бадью – «решимость на новый способ быть» [4, с. 64]. Именно на такого рода (экстремальный) опыт никак не может решиться современность. Неповторимая смерть как предельная необратимость – это то, что невысказуемо для общества всеобщей обратимости, умножающего возможности по-вторений, пере-загрузок, пере-писываний, пере-игрываний, re-play, re-load, re-peat, re-vers... Нынешний человек, адаптированный к 9 игровым жизням про запас, не знает, что делать со своей неутомимо единственной жизнью. Он инстинктивно боится кардинальных решений и точек невозврата, он ищет реинкарнаций и комфортного инобытия, он предпочитает смешение форматов и размытие границ – не-смерть, не-жизнь, недо-смерть, после-житие. Он хочет отвлечься от радикальных вопросов и развлекаться ридикульными ответами. Его влечет гарантированная не-потеря, нерискованное предприятие – зависание где-то между настоящей жизнью и настоящей смертью.

Новая мифология пытается «приручить» одичавшую смерть, сделать её не страшной, *совместимой с жизнью* – а значит, не радикальной, не окончательной, не безвозвратной. Расцветающие сегодня пышным цветом бесчисленные мотивы возвращений (и из-вращений) недо-пере-мертвых – суть попытки обойти подлинность необратимого события смерти. Возможно, залог громкого успеха умножающихся образов всевозможной нежити в XX и XXI вв. – знак того, что они уже *не чужды* нам. Сидящим у экранов вампирам вечно недостает бурлящей крови для поддержания «вторичной, тусклой, затворнической жизни» [12, с. 90], а эмоционально атрофированным зомби-пользователям нужны чужие (не свои, заемные) мозги. Что оптимально обеспечивает вторичное существование: не думать, не чувствовать, но есть, потреблять. Проясняя степень чуждости за-экранной нежити – пред-экранному житию, нельзя не отметить, что первое в какой-то мере *любо* второму: в столь полубившихся образах «живых мертвецов» уставший и обескровленный человек узнает (видит) и себя...

«Привычная оппозиция “жизнь – смерть” оказывается сметенной уже не оппозицией, а странным взаимоотношением не-живого и не-мертвого» [1, с. 34]. Человек постмодерна не может даже умереть, его жизнь, по словам А. Перцевой, превратилась в некое дожитие [14]. Не-смертие, нерешительное топтание перед границей неумело имитирует воскресение – жизнь за смертью, жизнь, *пережившую* смерть. Однако при похожести упаковок (современный уровень PR-технологий это позволяет) содержимое кардинально отличается. Бессмертие – активное отрицание смерти, не-смертие – пассивное её оттягивание.

Когда же смерть перестает играть роль «упора», отодвигаясь и вытесняясь в послежитие, то, как убедительно показывает Бодрийяр, в силу хорошо известного возвратного процесса и сама жизнь оказывается всего лишь «доживанием, детерминированным смертью» [7, с. 236]. Порочный круг замыкается: нейтрализация мысли о смерти означает не-мыслие вообще, а «не мыслить», как четко формулирует Бадью, означает и «не

сопротивляться», и «не рисковать идти на риск» [3, с. 103]. Такое бытие уже перестает быть хайдеггеровским бытием-к-смерти, предполагающим обдумывание смерти, мышление в виду и вблизи нее, существованием в её горизонте и заботу о себе. Напротив, нерешимость и нежелание думать о смерти переключает человека в режим без-заботности. Установки общества потребления: вместо заботы о смерти – беззаботность, взамен влечения к ней – раз-влечения вне ее.

Жажда вырваться из картонно-пластикового мира к подлинному, прорваться на *ту сторону* реальности пробивается в свободном порыве к смертоносному: «Поскольку взрыв – это всегда обещание, он *есть* наша надежда... Чтобы сердце реактора раскрыло, наконец, свою горячую мощь разрушения, чтобы оно убедило нас в присутствии» [8, с. 81]. Жак Деррида пишет о *даре* смерти: о дарении и обретении себя себе через смерть. В мире сменных деталей и заменимых сотрудников только в смерти обретается полная уникальность: экзистенция дара исключает любую замену. В обществе контроля именно смерть остается неподконтрольной точкой, рубежом свободы. По словам Деррида, именно «эта забота о смерти, это пробуждение внимания к смерти, это наблюдение за нею, это сознание, которое смотрит смерти в лицо, есть другое название свободы» [9, с. 132].

Когда важнейшим навязчивым состоянием времени становится «не-мысль», то на его фоне куда отчетливее видны события мысли – события про-думывания-жизни и додумывания-до-смерти. Образ смерти, *живущий* в голове, поляризует выбор: не-мыслие или мысль, без-заботность или забота, без-дарность или дар. Оттягивание смерти или принятие её. В то время, как по одну сторону символических баррикад имеет место массивированное разжиженное не-думание, имитирующее *освобождение от смерти*, по другую их сторону обретает реальность решительное *освобождение в смерти*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аронсон О. Трансцендентальный вампиризм / О. Аронсон // Синий диван. – 2010. – № 15. – С. 25-46.
2. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес; [пер. с фр.; общ. ред. Оболенской С. В.; предисл. Гуревича А. Я]. – М. : Прогресс, 1992. – 528 с.
3. Бадью А. Можно ли мыслить политику? : краткий трактат по метаполитике / А. Бадью; [пер. с фр. Б. Скуратова, К. Голубович]. – М. : Логос, 2005. – 240 с.
4. Бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла / А. Бадью; [пер. с франц. В. Е. Лапицкого]. – СПб. : Machina, 2006. – 126 с.
5. Барт Р. Фрагменты речи влюбленного / Р. Барт; [пер. с фр. В. Липицкого; ред., вступит. ст. С. Зенкина]. – М. : Ad Marginem, 1999. – 431 с.
6. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской]. – М. : Республика; Культурная революция, 2006. – 269 с. – (Мыслители XX века).
7. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр; [пер. с французского и вступительная статья Зенкина С. Н.]. – М. : Добросвет, 2000. – 387 с.
8. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр; [пер. с французского и вступительная статья О. А. Печенкиной]. – Тула : Тульский полиграфист, 2013. – 204 с.
9. Деррида Ж. Дар смерти / Ж. Деррида; [пер. с англ. Ю. Азаровой] // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – Х., 2002. – Ч. 1. – № 552 / 1. – С. 120-152.
10. Канетти Э. Масса и власть / Э. Канетти // Тень парфюмера : [сборник работ]. – М. : Алгоритм, 2007. – 288 с.
11. Москвин Д. Е. Политическая танатология: методологические наброски / Д. Е. Москвин // Дискурсология: методология, теория, практика : [доклады второй международной научно-практической конференции, посвящённой памяти Жана Бодрийяра] / [под общ. ред. О. Ф. Русаковой]. – Екатеринбург : издательский Дом «Дискурс-Пи», 2007. – С. 27-29.
12. Нанси Ж.-Л. Прощайте, вампиры / Жан-Люк Нанси; [пер. А. Гаражи] // Синий диван. – 2010. – № 15. – С. 89-92.
13. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Дегуманизация искусства. Бесхребетная Испания : [сборник работ] / Х. Ортега-и-Гассет; [пер. с исп.]. – М. : АСТ, 2008. – 347 с. – (Philosophy).

14. Перцева А. А. Тема смерти в этносоциологической перспективе : [электронный ресурс] / А. А. Перцева // Арктогея – философский портал. – Режим доступа: <http://arcto.ru/article/1586>.
15. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / М. Фуко; [пер. с фр. А. В. Дьяков]. – СПб. : Наука, 2010. – 448 с.